

Говард Филлипс Лавкрафт

Музыка Эриха Цанна

(The Music of Erich Zann)

Я очень тщательно изучил карты города, но улицы д'Осей нигде не нашел. Я обращался не только к современным картам: мне известно, названия могут меняться. Напротив, я глубоко зарылся в историю этих мест, исследовал самолично, вне зависимости от названия, все городские районы, где могла бы находиться улица, известная мне как д'Осей. Стыдно в этом признаваться, но, несмотря на все усилия, я так и не нашел ни дом, ни улицу, ни даже часть города, где, будучи нищим студентом-философом, в последние месяцы своего обучения в местном университете я слушал музыку Эриха Цанна.

Что мне отказала память, неудивительно: пока я жил на улице д'Осей, у меня были серьезные нелады со здоровьем, с психикой в том числе; помнится, меня там не навещал никто из моих немногочисленных знакомых. Но то, что я не могу отыскать свое прежнее обиталище, удивляет и озадачивает, ведь располагалось оно в получасе ходьбы от университета и было в некоторых отношениях приметным. Трудно поверить в то, что побывавший там его забудет. Никто из тех, с кем я позднее говорил, ни разу в жизни не видел улицу д'Осей.

Улица эта находилась по ту сторону реки, текущей меж громадами кирпичных товарных складов с мутными окнами; берега ее соединяет массивный мост из темного камня. У реки всегда было тенисто, словно дым соседних фабрик на веки вечные скрыл из виду солнце. И еще над рекой стояли дурные запахи, совершенно особые; когда-нибудь они помогут мне найти то место, потому что их я ни с чем не спутаю. За мостом были мощенные булыжником улицы с рельсами, потом начинался подъем, сперва пологий и ближе к д'Осей невероятно крутой.

Мне в жизни не попадалось второй такой узкой и крутой улицы, как д'Осей. Это был только что не обрыв, где не ездил никакой транспорт, там и сям гладкая дорога сменялась ступеньками, отдельные участки переходили в лестницу, а верхний конец замыкала мощная стена, увитая плющом. Уличный настил был неоднородный: где-то каменные плиты, где-то булыжники, где-то голая земля, с пробивавшейся тут и там серовато-зеленой растительностью. Дома, высокие, с островерхими крышами, невероятно старые, кренились в разные стороны. Бывало, противолежащие дома, наклоненные навстречу друг другу, образовывали что-то вроде арки, и в этом месте всегда стоял полумрак. Встречались также перекинутые через улицу мостики.

Обитатели здешних мест производили на меня странное впечатление. Вначале я объяснял это их молчаливостью, но позднее решил, что они просто очень старые. Не знаю, как мне пришло в голову там поселиться, но я в то время был немного не в себе. Из-за безденежья мне часто приходилось переселяться, и я навидался разных бедных кварталов, пока наконец не набрел на ветхий дом на улице д'Осей, в котором распоряжался паралитик по фамилии Бландо. Считая от вершины холма, дом стоял третьим и далеко превосходил всех своих соседей по высоте.

Моя комната находилась на пятом этаже, где больше никто не жил: дом был почти пуст. Поздно вечером, когда я вселялся, из окна островерхого чердака лилась странная музыка, и на следующий день я спросил Бландо, кто играл. Он ответил, что это старик-немец, немой и чудаковатый; имя его, судя по подписи, Эрих Цанн, вечерами он играет на виоле в оркестре при одном захудалом театре. Бландо добавил, что Цанн имеет привычку браться за инструмент по ночам, когда вернется из театра; потому он и приискал себе просторную и изолированную чердачную комнату с единственным окошком, через которое, в отличие от всех прочих, открывается вид на склон холма по ту сторону стены в конце улицы.

Потом я слышал Цанна каждую ночь, он мешал мне спать, и все же я был зачарован его странной, потусторонней музыкой. Я мало знаком с музыкальным искусством, однако был убежден, что ни одно из созвучий Цанна не похоже ни на что слышанное мною прежде; отсюда я сделал вывод, что мой сосед одарен в высшей степени оригинальным талантом композитора. Чем дольше я слушал, тем сильнее пленяли меня эти звуки, и через неделю я решил свести знакомство со стариком.

Однажды вечером, когда Цанн возвращался с работы, я подстерег его в коридоре и сказал, что хотел бы с ним познакомиться и послушать вблизи его игру. Он был невысок ростом, щупл, сутул, с голубыми глазками и забавным личиком сатира, лысиной во всю голову, одет в какие-то обноски. Когда я заговорил, Цанн ответил злым и одновременно испуганным взглядом, но, видя мое дружелюбие, в конце концов смягчился и недовольным жестом пригласил меня следовать за ним по темной и шаткой чердачной лестнице. Его комната, одна из двух под крутой крышей, располагалась с запада и смотрела на высокую стену, в которую упирался верхний конец улицы. Очень просторное помещение казалось еще больше из-за необычайной скудости обстановки и запущенности. Из мебели имелись только узкая железная кровать, неопрятный умывальник, столик, большой книжный шкаф, железный нотный пюпитр и три старомодных стула. На полу громоздились в беспорядке ноты. Обшитые голыми досками стены, видно, никогда не штукатурили. Судя по залежам пыли и вездесущей паутине, можно было вообще усомниться, что тут кто-то живет. Очевидно, Эрих Цанн не признавал иной красоты, кроме сущей в эмпиреях воображения.

Жестом предложив мне садиться, немой закрыл дверь, повернул большую деревянную задвижку и зажег еще одну свечу в дополнение к той, что была при нем. Извлек из траченного молью футляра виолу и с нею в руках сел на самый крепкий из имевшихся стульев. Нотами он не воспользовался и, не спросив о моих пожеланиях, целый час угощал меня восхитительными мелодиями, подобных которым я никогда не слышал. Не иначе как это были его собственные композиции. Что они собой представляли, я, не будучи знатоком музыки, описать не способен. Это были как будто фуги с повторяющимися пассажами самого пленительного свойства, но я обратил внимание на то, что в них ни разу не прозвучали потусторонние мотивы, которые я слышал прежде, у себя.

Те, прежние мелодии невольно запечатлелись у меня в памяти, и я часто пытался, не совсем успешно, напеть их про себя или просвистеть. И потому, когда музыкант наконец отложил смычок, я попросил его сыграть что-нибудь из них. Когда я завел об этом речь,

старик насторожился и спокойствие и скука на его морщинистом личике сатира сменились диковинным сочетанием злости и страха, как в тот раз, когда я впервые к нему обратился. Подумав, что это старческие капризы, к которым не стоит относиться серьезно, я стал его уговаривать и даже, чтобы вызвать соответствующее настроение, попытался насвистеть одну из мелодий, слышанных накануне ночью. Однако мне сразу же пришлось умолкнуть: едва немой музыкант узнал мотив, как черты его исказила неопишуемая гримаса, а длинная костистая рука потянулась к моим губам, чтобы остановить грубую имитацию. И еще одна странность: испуганный взгляд старика скользнул к одинокому, завешенному шторой окну, словно там могли появиться незваные гости. Это было тем более нелепо, что чердак располагался очень высоко, куда выше соседних крыш; консьерж говорил мне, что на улице нет второго окна, откуда виден через стену противоположный склон холма.

Заметив испуг старика, я вспомнил о словах Бландо, и мне взбрело в голову полюбоваться широкой, головокружительной панорамой посеребренных луною крыш и городских огней с той стороны холма — зрелищем, недоступным всем прочим обитателям улицы д'Осей. Я шагнул к окну и готовился уже раздернуть неопишимо ветхие шторы, но тут меня настиг, в полном уже неистовстве, хозяин комнаты. Кивая на дверь, он обеими руками стал оттягивать меня от окна. Это меня окончательно возмутило, я велел ему убрать руки и сказал, что немедленно уйду. Старик ослабил хватку и, видя, как я обижен, стал успокаиваться. Он снова сжал мою руку, но на этот раз примирительным жестом, принудил меня сесть на стул, с задумчивым видом подошел к столу и, найдя среди хлама карандаш, стал писать на тяжеловесном, как бывает у иностранцев, французском длинную записку.

Когда он наконец вручил записку мне, там оказалась просьба снизойти к нему и простить. Цанн утверждал, что он стар, одинок и подвержен необычным страхам и неврозам, связанным с собственной музыкой и не только с ней. Ему понравилось, как я слушаю, и он приглашал меня приходить еще, но только просил не обращать внимания на его причуды. Однако он не может исполнять свою необычную музыку для других и не выносит, когда ее воспроизводят другие, а также не терпит, когда посторонние что-нибудь трогают в его комнате. До нашей встречи в коридоре он не имел понятия, что мне слышна его игра, и теперь он спрашивает, нельзя ли договориться с Бландо, пусть переселит меня в нижний этаж, подальше от ночных концертов. Он, Цанн, берется доплачивать за мою новую комнату.

Пока я разбирал жуткий французский язык старика, моя обида сменилась сочувствием. Он страдает от физического и нервного недуга, я тоже; философские занятия научили меня доброте. Тут в окне послышался тихий стук — наверное, задрезжали под ночным ветерком ставни, и я почему-то, вслед за Эрихом Данном, испуганно вздрогнул. Закончив читать, я пожал хозяину руку, и мы расстались друзьями. Назавтра Бландо предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже, между квартирой пожилого ростовщика и комнатой уважаемого обойщика. На четвертом этаже жильцов не было.

Вскоре я убедился, что Цанн не так жаждет моего общества, как можно было подумать, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. Он не приглашал меня к себе, а если я приходил незваным, Цанн держался спокойно и играл вяло. Происходило это всегда ночью: днем Цанн спал и никого не принимал. Нельзя сказать, чтобы я проникался к нему все

большей симпатией, хотя чердачная комната и потусторонняя музыка сохраняли для меня свою непонятную притягательность. Меня одолевало странное желание выглянуть в это окно, увидеть ту сторону стены, неизвестный склон, блестящие крыши и шпили внизу. Однажды я поднялся на чердак в то время, когда Цанн был в театре, но дверь оказалась заперта.

Что мне удавалось, так это подслушивать ночную игру немого музыканта. Вначале я прокрадывался на цыпочках в свой прежний пятый этаж, потом набрался смелости и стал взбираться по скрипучей лестнице до самого верха, поближе к чердаку. Там, в тесном коридоре, перед запертой на засов дверь с прикрытой замочной скважиной, я нередко внимал звукам, наполнявшим душу неопределенным страхом, ибо за ними чудилась какая-то сверхъестественная тайна. Нет, музыка была красива, а вовсе не ужасна, но ее сопровождали вибрации, несравнимые ни с чем на нашей брэнной земле, а временами она обретала симфоническое звучание и трудно было поверить, что это играет один-единственный исполнитель. Несомненно, Эрих Цанн обладал истинной гениальностью, причем самого необузданного свойства. Недели текли, игра становилась все мощнее и причудливей, сам же старый музыкант худел и выглядел таким затравленным, что больно было смотреть. Он от меня затворился, а при случайных встречах на лестнице шараялся в сторону.

Однажды ночью, пока я подслушивал под дверь, пенье виолы переросло в беспорядочный визг. Ловя эту сумятицу звуков, я усомнился в собственном здравом рассудке, но тут прозвучавший за закрытой дверь вопль подтвердил плачевную реальность: там действительно происходило что-то ужасное. Так жутко и нечленораздельно мог кричать только немой и только от отчаянного страха или нечеловеческой боли. Я стал колотить в дверь — ответа не было. Дрожа от холода и страха, я ждал в темном коридоре. Наконец послышался шорох: бедный музыкант пытался, опираясь на стул, подняться на ноги. Я решил, что он приходит в себя после обморока, и снова стал стучать в дверь, повторяя ободряющим тоном свое имя. Цанн, судя по всему, доковылял до окна, закрыл его и задернул шторы, потом не без труда добрался до двери, отодвинул неверной рукой засов и впустил меня. На этот раз можно было не сомневаться, что он рад меня видеть: его несчастное личико просияло от облегчения и он ухватился за мою куртку, как ребенок хватается за юбку матери.

Жалостно дрожа, старик усадил меня на стул, и сам сел тоже; виола со смычком лежали, забытые, рядом с ним на полу. Первое время он сидел неподвижно, только странно кивая и словно бы напряженно и испуганно к чему-то прислушиваясь. Потом Цанн как будто успокоился, пересел к столу, написал краткую записку, отдал ее мне и, вернувшись за стол, принялся быстро и непрерывно строчить. В записке он умолял меня, во имя милосердия и ради удовлетворения собственного любопытства, оставаться на месте и ждать, пока он подготовит на немецком полный рассказ о страшных тайнах, его окружающих. Я ждал, немой музыкант водил карандашом по бумаге.

Прошло около часа, я все еще ждал, рядом со старым музыкантом быстро вырастала стопка листков, но вдруг он отчаянно дернулся. Ошибиться было невозможно: он глядел на зашторенное окно, вслушивался и трясся от испуга. Тут мне почудилось, что я и сам что-то различаю: звук, совсем не пугающий, напоминал чрезвычайно тихую и

отдаленную мелодию, словно неведомый музыкант играл в каком-нибудь из соседних домов или по ту сторону высокой стены, за которую мне не доводилось заглядывать. На Цанна было страшно смотреть: он уронил карандаш, рывком встал, схватил виолу и принялся оглашать ночную тишину теми дичайшими мотивами, какие исполнял только наедине с собой, а я слушал только из-за запертой двери.

Что играл той ужасной ночью Эрих Цанн, описывать бесполезно. Прежде, подслушивая, я не представлял себе, что это за жуть, так как не видел его лица, теперь же понял: за этой бурной игрой стоит отчаянный страх. Громкими звуками старик то ли от чего-то себя защищал, то ли старался что-то заглушить; в чем он видел опасность, я не догадывался, но чувствовал, что опасность эта велика. Причудливое музицирование обрело характер бреда, истерики, но сохраняло в себе следы высшего таланта, которым, как мне было известно, обладал странный старик. Я узнал мелодию: это был неистовый венгерский танец, любимый театральной публикой, и на миг мне подумалось, что прежде я ни разу не слышал, чтобы Цанн исполнял чужие сочинения.

Виола завывала все громче и отчаянней. Музыкант, заливаемый потоками пота, дергался как обезьяна и не спускал безумного взгляда с занавешенного окна. Под яростный напев мне все отчетливей представлялись тени сатиров и вакханок, бешено кружащихся среди водоворота туч, дымов и молний. Затем я различил как будто иные тоны, более высокие и протяжные, чем у виолы; где-то далеко на западе они выпевали размеренную, упорную, дразнящую мелодию.

Тут за окном заплакал и застучал в ставни ночной ветер, словно бы вызванный безумной игрой старика. Визгливая виола Цанна стала исторгать из себя звуки, не свойственные, как я думал, этому инструменту. Ставни застучали громче, растворились и начали биться об окно. Задребезжало разбитое стекло, внутрь ворвался студеной ветер, зашипели свечи, зашелестели бумаги на столе, где Цанн начал записывать свою страшную тайну. Я поглядел на Цанна: ясное сознание его покинуло. Голубые глаза бессмысленно пялились в пустоту, смычок извлекал из виолы уже не музыку, а механическое, ни на что не похожее чередование звуков, описать которое не под силу перу.

Внезапный, еще более мощный порыв ветра подхватил рукописные листы и увлек к окну. Я отчаянно кинулся следом, однако не успел: листы исчезли. Тогда мне вспомнилось мое прежнее желание выглянуть в это окно, единственное на улице д'Осей, откуда виден склон холма за стеной и простертый внизу город. Было очень темно, однако город всегда светится огнями, и я надеялся увидеть их сквозь потоки дождя. Но когда я приник к этому чердачному окошку, самому высокому на улице, и под шипенье свечей и завывания безумной виолы и ночного ветра стал всматриваться в сумрак, там не оказалось ни простертого внизу города, ни приветливых фонарей знакомых улиц — ничего, кроме беспредельного черного пространства, невообразимого пространства, оживленного движением и музыкой, не похожего ни на что на этой земле. И пока я глядел, оцепенев от ужаса, ветер задул обе свечи, освещавшие старинный, с остроугольным потолком, чердак, и оставил меня в первобытном непроницаемом мраке, с демоническим хаосом перед глазами и демоническим беснованием ночной виолы за спиной.

Не имея возможности добыть света, я шатнулся назад, ударился о стол, опрокинул стул и стал на ощупь пробираться туда, где вскрикивал, извергая дикую музыку, мрак. Какие бы силы мне ни противостояли, я должен был, по крайней мере, попытаться спасти Эриха Цанна и спастись самому. Однажды я ощутил какое-то холодное прикосновение и закричал, но жуткая виола заглушила мой крик. Внезапно меня толкнул ходивший ходуном смычок: музыкант был рядом. Я протянул наугад руку и наткнулся на спинку стула, потом нашел плечо Цанна и стал трясти, чтобы старик очнулся.

Он не откликнулся, но виола продолжала завывать все так же оглушительно. Я нащупал голову музыканта, сумел остановить его механические кивки и прокричал в ухо, что нам обоим нужно спасаться бегством от непонятных ночных созданий. Однако он не отвечал и с тем же остервенением водил смычком, а между тем по всему чердаку загуляли странные ветерки, затеявшие во тьме и неразберихе подобие танца. Коснувшись уха музыканта, я, сам не поняв отчего, вздрогнул. И понял, только ощупав его неподвижное лицо: холодное, окоченевшее, бездыханное лицо, остекленевшими глазами бессмысленно пялившееся в пустоту. И вот, каким-то чудом отыскав дверь и большой деревянный засов, я с бешеной скоростью припустил вниз по лестнице, подальше от обладателя остекленевших глаз и от дьявольского завывания проклятой виолы, ярость которой не стихала, а только усиливалась.

Век буду помнить это ужасное бегство: как я прыгал, скользил, летел по бесконечным лестницам темного дома; как выскочил в забытьи на узкую крутую улочку, к ступенчатой дороге и кренившимся домам, как по ступеням и булыжнику сбежал на нижние улицы, к зловонной, зажатой в высоких берегах реке, как пересек, пыхтя, большой темный мост и очутился на известных нам всем улицах и бульварах — широких и опрятных. Ветра, помнится, не было, как и луны, и все огни в городе сияли ярким блеском.

Все мои розыски, все самые тщательные расследования ни к чему не привели: я так и не нашел улицу д'Осей. Однако ни об этом, ни о потере плотно исписанных листков, единственного ключа к тайне музыки Эриха Цанна, я особо не печалюсь.

Перевод: Людмила Брилова

2010 год